

5 ноября 1988 г.

Ромм М.И.

5/11 88

Очень часто в дни всенародных праздников экран обращается к произведениям народного артиста СССР кинорежиссера Михаила Ильича Ромма. В кинолениннату художника входит знаменитая диалогия «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», где актер Б. Щукин впервые на нашем экране создал незабываемый, ставший классикой образ вождя, показав зрителям движение ленинской мысли, его человеческое обаяние и простоту, единство с народом.

В издательстве «Искусство» готовится к печати сборник воспоминаний о Михаиле Ромме (составители Н. Кузьмина и И. Германова). Публикуем очерки кинодраматурга и режиссера А. Смирнова — одного из многочисленных учеников мастера, и главного режиссера московского театра «Современник» Г. Волчек — дочери кинооператора Б. Волчека, в содружестве с которым создавались многие известные фильмы режиссера.

Галина
ВОЛЧЕК

ПИСЬМО ИЗ ДЕТСТВА

Когда теперь я вспоминаю или вижу фотографию, или смотрю фильм, слышу или произношу сама слово «Ромм», я испытываю какое-то особое чувство, которое очень трудно расшифровать. Я даже и сейчас еще поймала себя на том, что написала не «фамилия», а слово «Ромм», потому что для меня это не название человека, не его имя, а что-то отдельно существующее в мире, какое-то явление, какая-то планета или еще какое-то огромное целое, которое называется «Ромм». Самое сложное объемное понятие ассоциируется иногда с очень конкретным личным восприятием какого-то факта или человека, или случая. Для меня само слово «искусство» всегда ассоциируется с Роммом, с ним самим, его пластикой, его папиросой, с необыкновенной быстротой гулющей из одного угла рта в другой, его умением слушать, его мгновенными реакциями, переключением от серьезных разговоров по телефону о судьбах искусства к серьезнейшему делу — приготовлению какого-либо очередного блюда, которое он только что придумал и с фанатизмом великого экспериментатора, нацепив на себя женский фартук, колдующего над масорубкой, где в этот момент соединялось нечто, казалось бы, несоединимое, например, сыр с селедкой. Но делал он это так убежденно, заразительно, я бы сказала, пылко, что все, к чему бы ни прикасался, приобретало свой, ни на что не похожий, потрясающий вкус.

Одно из самых замечательных воспоминаний детства — это рассказы Ромма о фильмах, о людях, о событиях в политике, о своей юности и вообще обо всем на свете.

Он приезжал вечером со съемок, садился за круглый стол. Стол был накрыт всегда, с него не убрали чашки, сахарницу, хлеб, сыр, сладкое. Только время от времени подогревали чайник и доносили что-то из новых яств. Мизансцена не менялась день ото дня: могли только добавляться новые действующие лица, а так, обычно для меня, — круглый стол, за столом Ромм, Наташка — его дочь, я и рядом на тахте Елена Александровна Кузьмина (Леля).

И вот в этой мизансцене мы просиживали до ночи, слушая Ромма, Леля иногда вставляла реплики, которые Ромм с упоением и гордостью хватал, и смотрел на нас с Наташкой поверх своих очков, как бы сожалея нам, тому, что мы еще маловыраженные, которые не в состоянии понять степень глубины ума и ироничности, остроты этой замечательной женщины. За этим столом я впервые услышала, что такое 37-й год и как Ромм и мой отец ждали каждую ночь остановки лифта на их этаже. За этим столом я впервые услышала имя Станиславского, которого Ромм видел в театре, в зале, когда тот пришел посмотреть какой-то спектакль, и как этот человек силой и чистотой своей личности заставил его, Ромма, смотреть в основном не на сцену, а на него, потому что тот спектакль, который происходил в кресле, где сидел Станиславский, был интереснее и талантливее того, что был на сцене.

Гораздо позднее я услышала слова «нравственность», «мораль», «добродетель», «мировоззрение»... Еще позднее эти слова стали понятиями, а тогда, на Полянке, я играла в классики около дома, каталась на трехколесном велосипеде, каждый день поднималась на 4-й этаж и садилась за большой круглый стол ужинать. Там-то за одним из обедов я и услышала однажды невероятную историю о человеке с черной бородой. Мы, дети, тысячу раз видели его во дворе. Этот человек заходил в разные подъезды, потом, через короткое время, выходил и, гордо поправляя на ходу свою черную огромную бороду, величественно удалялся с нашего двора. Однажды он позвонил в дверь Ромма. Тот случайно был дома, спросил сквозь приоткрытую дверь: «Кто это?» Полульняной баритон сквозь запертую дверь попросил милостыню. Ромм открыл и — «о ужас!» — в этом обтрепанном, полульняном красавце-бородаче в холщовом макинтоше странного покроя Ромм узнал своего однокашника по ВХУТЕИНу, где он учился на скульптора. Тот был одним из самых обещающих студентов, но позднее Ромм его как-то потерял из виду... И вот через много лет нашел у себя под дверью просящим милостыню. В это время Ромм закончил какой-то из своих фильмов и получил

постановочные. Половина этих денег ушла на то, чтобы после 10-летнего перерыва в работе роммовскому однокашнику — полуслившемуся талантливому скульптору — была куплена и оборудована мастерская. Позднее Ромм три раза пытался покупать этому человеку мастерские, где, как он надеялся, будут созданы мировые шедевры. Только после того, как была разорена и пропита 3-я мастерская, Ромм сдался...

Наташка должна быть врачом, этого хотели все, да иначе и быть не должно. Наташка сильная, суровая, смелая, даже боевая — она будет прекрасным врачом!

А кем будет Галка? Толстая, некрасивая, стеснительная, не подающая никаких надежд!

Так думали все, и совершенно справедливо.

Леля много раз перебирала вместе со мной все казавшиеся ей возможными для анемичной и ничем не примечательной, но любимой Галки профессии, Наташка тоже пыталась принимать участие в выборе моей будущей жизни, папа острожно мечтал о литературной карьере своей дочери, основываясь на ее сочинении по Гоголю. И только один человек на этой планете знал, что Галка (так называли меня все в роммовской семье) давно выбрала себе единственно возможную для себя профессию.

Я никогда в жизни не забуду, как с пересохшим от трясушки горлом, с вспотевшими от напряжения руками я встала напротив Ромма в его кабинете на Полянке и впервые в своей жизни прочитала вслух прозу, басню и стихотворение!

Много раз мне приходилось испытывать страх, волнение, ужас перед встречей со зрителем, но не знаю, было ли в моей жизни подобное испытание — ведь я читала Ромму.

Пришла я в себя оттого, что увидела, как Ромм, сидя в своем всегдашнем кресле, передвигая губами, как замечательный фокусник, папиросу из одного угла рта в другой, вцепился руками в подлокотники и волнуется не меньше меня.

Когда я закончила чтение, он секунду помолчал, потом решительно отвернулся к столу, взял листок бумаги, что-то написал, свернул, отдал мне и велел передать эту записку Александру Михайловичу Кареву. Только когда Ромма не стало, а я была уже режиссером театра «Современник», мой педагог Карев сказал, что было написано в этой записке, и обещал отдать ее на память, но не успел — вскоре он скончался.

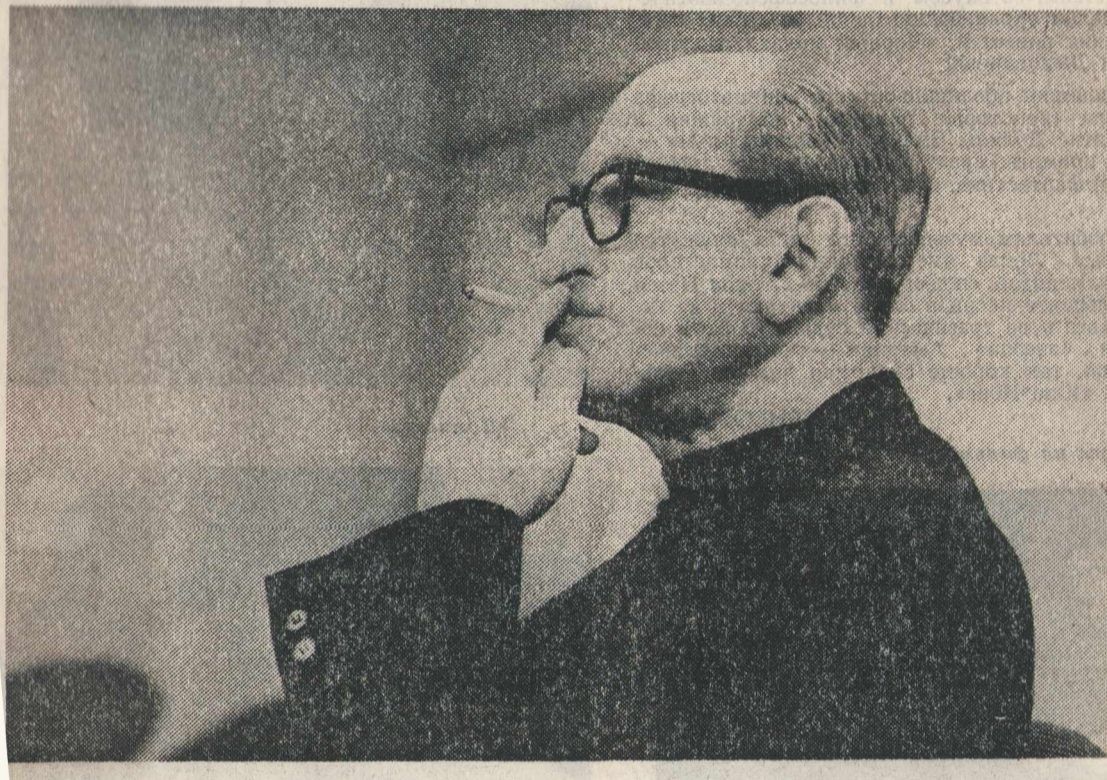
А тогда, в 1951 году, Ромм, протянув мне эту бумажку, деловито сказал: «Иди на экзамен, не бойся!»

Когда теперь молодые режиссеры, стажеры или недавние выпускники сидят на моих репетициях и удивляются: «Галина Борисовна, как вы так долго можете объяснять или терпеть все, что вам говорят актеры», — я пожимаю плечами, развожу руками, многозначительно киваю головой — дескать, такая моя судьба режиссера, а на самом деле когда мне хочется заорать или кинуть в артиста или что-нибудь предметом, я мысленно сразу представляю в большой мосфильмовский павильон на съёмки «Убийства на улице Данте». На площадке все готово, как всегда, до конца смены осталось мало времени, все торопятся, кричат, подгоняют друг друга. Плятт, загримированный и готовый к съемке, вдруг задает один, потом другой какой-то вопрос; говорит: «Не понимаю». Второй режиссер возбужденно орет: «Надо понимать быстрее!», все на пределе, и только Ромм, который направляет больше всех, спокойно берет Плятта под руку, любяно смотрит на него, долго гуляет с ним по павильону и, тихо улыбаясь, потом серьезно, потом трагически, только ему, Плятту, почти на ухо что-то объясняет.

«Безнравственно не менять своих убеждений» — прочитала я один из самых гениальных призывов человеческой нравственности и духовности. Не все способны его до конца понять. И далеко не все из тех, кто понял, способны ему следовать. Какое огромное преклонение вызывает Ромм, который — один из немногих на моей уже достаточно зрелой памяти — поставил под сомнение самого себя и своим роммовским счетом переоценил свои некоторые фильмы, так высоко оцененные сталинскими и другими премиями. И поэтому, наверное, его фильм «Обыкновенный фашизм», сделанный сегодняшним и потому вечным Роммом, волнует и потрясает.

Когда я прохожу по улице и читаю надпись «улица Пудовкина» или смотрю фильм Студии имени Довженко, я испытываю, с одной стороны, гордость за то, что люди, отдавшие себя искусству, увековечены теми, кто остался после них, а с другой стороны, я испытываю чувство ревности за Ромма. А как же улица Ромма или студия Ромма?

А потом думаю, а разве его блестящие ученики — не имени Ромма?



113